



Г. А. МИТИН

Евангелие от Максима*

За последние год-два целая лавина суровых обвинений обрушилась на великого русского писателя А. М. Горького. Особенно старались писатели Борис Васильев, Александр Гангнус и ряд других. Самого Горького как бы «раздвоили», уверяя нас, будто он лично, субъективно — гуманист и порядочный человек, а вот объективно он — сталинист и безнравственная личность. Что же отвечают на такие фантазии «разоблачителей» наши присяжные горьковеды? Молчат! То ли считают ниже своего достоинства разоблачать разоблачителей, то ли просто боятся вступать в схватку с людьми, лучше их владеющими словом, то ли и сами «перестраиваются» в своем отношении к кормильцу...

«Разоблачают» Горького — вместо того, чтобы разбивать вдреизг сталинистские мифы о Горьком! Один из самых вредоносных мифов, созданных горьковедами еще в 30-х годах, утверждает, будто бы Горький своим романом «Мать» от 1907 года положил начало «соцреализму» — тому самому, который сталинистскими идеологами был объявлен и на самом деле стал «основным творческим методом» советской литературы после Первого съезда советских писателей в 1934 года. Однако, как известно, закон обратной силы не имеет! Грубейшей фальсификацией было распространение понятия «соцреализма» даже на литературу 20-х годов, не говоря уж о революционном творчестве А. М. Горького. Понятно, что «ошибка» горьковедов была спровоцирована стремлением Сталина «связать» времена, чтобы выглядеть верным последователем Ленина. Вот почему сегодня вдвойне необходимо показать: роман «Мать» не имеет ничего общего с «соцреализмом». Эта книга написана свободным художником.

* Впервые: Литература в школе. 1989. № 4. С. 48–65.

* * *

Что такое роман по сравнению с жизнью? Это искусно остановленное мгновение человеческой истории, которая движется непрерывно. Конвейер истории, конечно, движется с переменной скоростью, иногда кажется, будто он и замер, но это только кажется наблюдателю, чье личное время несоизмеримо с временем историческим. И вот история уходит вперед, изменяясь, а литературное произведение, роман, остается неподвижным и неизменным. Приходит время — и жизнь уже совсем непохожа на ту, отраженную в романе. Так актуальное произведение превращается в художественный документ прошлого. И кажется, что роман живет за счет своей художественности, т.е. за счет гениальности автора.

Но вдруг оказывается, что жизнь на конвейере истории вновь стала удивительно «похожа» на ту, что в романе. Возникает переключка времен, жизней — и роман о далеком прошлом опять обретает актуальность. Конечно, гениальные произведения светят вечно и постоянно, но все же иногда они как бы вспыхивают особенно ярко. И мы перечитываем их с особым волнением. Именно так недавно я перечитал роман Горького «Мать».

Что же случилось, отчего тускло светившаяся лампочка вдруг засверкала? Просто — переключка времен, перекачка энергии. Наше время, неожиданно подключившись, послало свой ток в роман. Создало фазы времен. Сегодня — перестройка. Но разве 80 лет тому назад в России не началась своего рода перестройка, которая неожиданно привела страну к революции? Мы называем перестройку революцией, растянутой во времени. Но разве Октябрьская революция 1917 года не была всего лишь венцом революции, начатой в 1905 году? И разве коллективизация не была еще одной, пускай сталинской революцией, по-сталински завершавшей социалистическое преобразование страны? Нет, революции не происходят в течение одного дня, даже если этот день 7 ноября. Для революции понадобилось всё первое тридцатилетие XX века, понадобилось два периода — ленинизма и сталинизма.

Роман Горького отразил то начало революции, для которого главное — пробуждение революционного сознания в народе. Некрасов вопрошал, проснется ли народ, исполненный силы. Горький ответил на вопрос поэта утвердительно. Сегодня тоже наблюдается пробуждение народа к политической активности, но отнюдь не случайно, что это пробуждение, длящееся уже пятый год, не дало нам своего адекватного отражения в романе. Возможно, такой роман и появится, но я думаю, что роман о современном пробуждении народа потребует от писателя

огромного мужества, потому что это поневоле будет роман, по сути направленный против романа Горького. «Страшный научный эксперимент над живым телом России», — определение Горького, данное им революции в 1918 году, — подходит к концу. Страна пробуждается для творчества настоящей жизни, в то время как роман «Мать» звал людей к тому, чтоб «сказку сделать былью». Мы должны низко поклониться Горькому за то, что он запечатлел то роковое пробуждение в формах самой жизни, в ясном реалистическом романе, который может служить нам уроком, а не в форме кого-нибудь «черного квадрата» или, напротив, «красного круга».

Иначе говоря, роман стоит зеркалом у самого истока нашей трагедии в XX веке — трагедии, обусловленной взаимодействием внутренних причин с внешними влияниями. Роман показывает, как народное сознание, подчиненное жизни, под влиянием посторонних людей и странных речей пробуждается и восстает против жизни, против хозяев жизни. Писатель подчеркивает и показывает, что унылые будни поддались очарованию сказки. Это то, что мы сегодня называем утопией. События привели к тому, что утопия встала у власти. В поисках кратчайшего пути к земному раю мы не остановились перед истреблением десятков миллионов своих сограждан собственными руками, в то время как, например, США жили мирно, копили капиталы, скупали чужие мозги — и вошли досрочно в XXI век!

Поэт Осип Мандельштам как-то признал, что художник XX века не может не быть христианином. Был ли христианином Горький! Вопрос не столько неожиданный, сколько сверхсложный, ибо невероятно сложной была сама картина мира в голове великого художника. Но все же ответить применительно к времени создания романа «Мать» можно. И — пора! Почти столетие мы читали роман, говоря образно, при красном свете. Пришло время прочесть эту «очень своевременную» и «весьма поспешно написанную» книгу в инфракрасном свете. Лев Толстой, без учета опыта которого, на мой взгляд, понять замысел романа Горького невозможно, писал: «Как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие вопросы». В Минске в 1987 году роман «Мать» вышел с грифом «политический роман», а в Москве в 1986 году с грифом «книга поколений». Так в самых лаконичных и самых общих оценках произвольно выявилась двойственная природа романа: и временная, и вечная. И это отнюдь не сплав, но живое диалектическое единство противоположностей!

Если «временное» для всех было самоочевидно как социалистическое, то вечное оказалось в глухой тени и только теперь, в наше особенное

время, выходит на свет и обнаруживает себя как христианское. Конечно, Горький говорил на языке самой революции, но с акцентом, и духовный акцент этот — христианский. Сохраняя веру в Христа, мать Павла сохраняет связь прошлого с будущим, но эта ниточка, увы, не существует для сына — нового пророка от Маркса. Мать говорит ему о низком качестве людей, но сын указывает на низкое качество общества. Роман по своей нравственно-духовной сути есть спроецированный в современность евангельский сюжет о Богоматери и ее Сыне, которого она отдает людям на муку. Спрашивается: откуда у Горького евангельские мотивы? Почему роман выстроен как современное Евангелие? Конечно, не вдруг. Однажды Толстой спросил Горького:

- Вы почему не веруете в бога?
- Веры нет, Лев Николаевич.

— Это неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо... Вот вы многое любите, а вера — это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру... Вы родились верующим, и нечего ломать себя.

После этих слов Толстого Горький записал важное признание: «Раньше он никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал».

Горький ответил Толстому не в разговоре. Толстой тогда пророчески сказал ему: «От этого не отмолчитесь, нет!» Горький ответил Толстому несколько позже романом «Мать».

Горький наверняка имел в виду то, что можно назвать Евангелием от Льва. Дело в том, что между четырьмя каноническими Евангелиями заметны расхождения и даже противоречия. Толстой, чье творчество Ленин назвал «зеркалом русской революции», составил своё, сводное Евангелие, по своему разумению. Церковь не признала его труд, цензура не разрешила — и книга вышла в русской типографии в Лондоне. Официальный богослов, комментатор Нового Завета, писал с осуждением: «...у Толстого получается какая-то оргия аллегоризации, напоминающая собою те в высшей степени произвольные толкования Св. Писания, какие встречаются у старых еврейских раввинов».

Зачем понадобилось Толстому изложить по-своему историю жизни Иисуса Христа? Возможно, что великого мыслителя не удовлетворила сочиненная им самим история воскресения князя Нехлюдова, он продолжал искать своего героя и нашел свой способ рассказать о Христе. Труд Толстого можно было бы обозначить как философско-религиозный в ряду других знаменитых книг XIX века о Христе — Ренана, Штрауса. Главное для Толстого — несгибаемость революционера духа, знающего, что впереди его ждет Голгофа. Вот какой герой нужен был

могучему, бесстрашному Льву Толстому! «Я смотрю на христианство как на учение, дающее смысл жизни», — писал Толстой в предисловии к изданию своего краткого изложения Евангелий, последние поправки в котором были им сделаны 19 января 1904 года.

А уже три года спустя появилась книга Горького, искавшего и нашедшего своего героя и свое учение, дающее смысл жизни в живой современности. Павел — негибимый революционер духа, который точно знает, что впереди его ждет — Голгофа. Так Горький сплел в неразрывное единство атеистичное учение марксизма с подвигом Христа. И вполне естественно, что Ленин высоко оценил роман, его своевременную сторону, но притчевый, религиозно-художественный смысл романа Ленин оставил как бы без внимания. Впрочем, эту сторону романа Ленин косвенно как бы подверг критике, когда критиковал «богостроительство» в работах Луначарского, Базарова и Богданова. Большевики охарактеризовали «богостроительство» как «течение, порывающее с основами марксизма». Резко, но вряд ли справедливо — с современной точки зрения, однако тогда и автор романа «Мать», и автор двухтомного труда «Религия и социализм» (Луначарский) отказались от дальнейших попыток соединить научный социализм с религией.

Да, конец XX века заставляет нас отказываться от иллюзий и заблуждений начала века, даже если эти иллюзии и заблуждения были исторически необходимы и неизбежны. И наоборот, то, что тогда казалось иллюзиями и заблуждениями, сейчас обретает права гражданства. XX век кончается, и вместе с этим приходит отрезвление. Перестройка отношений между советским государством и православной церковью позволяет более полно прочесть и осмыслить горьковский роман, избавившись от примитивности школьного истолкования. Видимо, надо признать, что роман «Мать» и является примером того, как художник может извлечь полезное для себя из, казалось бы, совершенно ложных идей. Впрочем, на Западе, несмотря на то, что Бебель назвал христианский социализм «социализмом дураков», это течение приобрело широкое признание, а в наши дни его представители стоят у власти в таких странах, как ФРГ и Италия. Увы, попытка сочетать несочетаемое в России, встреченная в штыки Плехановым и Лениным, провалилась. Русская революция отвергла Христа.

* * *

Горький собирал факты для романа, т.е. прежде всего материалы по сормовской демонстрации, и, видимо, утопал в них, никак не мог обратиться к роману. Это продолжалось несколько лет, и неизвестно,

чем бы кончилось, если бы не два обстоятельства, разновеликие для истории, но равнозначные для художника. Первое — революция 1905 года, событие для истории куда более значительное, чем сормовская демонстрация 1902 года. И все же лично для Горького революция началась именно с Сормова — и впечатление от начала не было заслонено уже ничем. Однако опыт революции подтвердил значительность скромного события в Сормове, и Горький понял, что Сормово — это, по сути дела, универсальная модель «начала». Важно и другое: и в 1902-м, и в 1905-м революционеры потерпели полное поражение, но — в опровержение обывательской логики и здравого смысла! — вера их в свою конечную победу только выросла и окрепла.

Вот этот парадоксальный исторический сюжет, который в 30-х годах будет обозначен удачным эстетическим термином «оптимистическая трагедия», был, пожалуй, самой существенной чертой развития русского освободительного движения в начале XX века — и это было в полную меру правды «отражено» Горьким в романе. Иначе говоря, «сюжетный» повтор в 1905 году событий 1902 года дал писателю ясную и вдохновенную историческую позицию. Это не было взглядом автора романа на действительность, это было верным отражением самой диалектики развития революции именно в то конкретное время и именно в России.

Второе, что помогло, на мой взгляд, Горькому выбраться из океана фактов к берегу романа, это тоже нечто парадоксальное, но уже не в истории, а в личной жизни писателя. Его арестовали, и при аресте у него изъяли все заметки и наброски к роману. Изъяли все! Более того, после своего освобождения из-под ареста Горький, не получивший обратно свой архив, уезжает в США и по дороге туда, на пароходе, снова начинает писать роман, но уже по памяти. Начинает — и заканчивает! В США — первую часть, в Италии — вторую часть романа.

Создается впечатление, что изъятие материалов к роману освободило творческую волю художника, — и роман был написан так быстро, как извергается Везувий. Освобожденная от давления материала воля художника по-хозяйски распорядилась им, сохранив верность историческому сюжету («оптимистическая трагедия»), Горький сумел подчинить протожизнь (в том числе и прототипы, протодокументы!) своей художественно-мировоззренческой концепции (какой именно — об этом позже).

Это — важнейший момент для истинного понимания романа, здесь следует отделить и даже противопоставить то, что в романе сплавлено: исторический сюжет и его авторский художественный образ, они не только не отвечают один другому (как полагают все без исключения горьковеды, исследователи романа), но даже спорят другом! Иначе

говоря, Горький, претворяя опыт революции в художественный образ, дал ему свою неадекватную объективной истине интерпретацию. И эта его художественная интерпретация, бывшая абсолютно закономерной для Горького тех времен, возникла у него в процессе трудной и последовательной борьбы художника с материалом жизни. Это можно легко показать на реальных фактах творческого процесса. А теперь я хочу подчеркнуть еще один парадокс: по выходе романа в свет его популярности во всем мире не было границ, но при этом с самого начала пафос исторического сюжета заслонил пафос художника. Пожалуй, только ныне, спустя 80 лет и, главное, в условиях перестройки всех общих отношений стало возможным заметить, что пафос автора романа «Мать» отнюдь не совпадал с пафосом самой революции.

Почему же автор до конца своей жизни сам ничего не сказал об этой важнейшей особенности романа, о его идеологической противоречивости? Причины были — и не одна! Как многие другие художники, Горький не любил комментировать, объяснять свои произведения, но в случае с романом «Мать» у него были на это специальные причины. Дело в том, что наряду со всемирным успехом сразу же обозначился и провал романа в глазах некоторых читателей, коих мнением Горький очень дорожил. Я имею в виду хотя бы отношение к роману Л. Н. Толстого. В то время как массовый народный читатель во всем мире (это — особая тема!) с восторгом читал книгу, Лев Толстой сказал: «Скучно!» Сам Горький неоднократно высказывал свое общее недовольство романом, однако не хотел мешать его успеху и авторитету, не хотел разрушать образ романа, сложившийся в сознании читателей.

Вот доказательство этому. Выступив под псевдонимом «Орловский», В. В. Воровский оценил книгу Горького высоко, однако тонко подметил жесткую схему развития образа матери. Горький мог бы, отвечая критику, лишний раз сослаться на то, что не выдумал Ниловну, а взял из жизни, списал с матери рабочего-революционера Заломова, участника сормовской демонстрации. Но Горький выдвинул иное возражение, очень любопытное и очень «партийное». Он писал: «...меня лично удивила статья Орловского, он пишет по поводу “Матери”: “Ниловна... представляет тип надуманный, маловероятный”. Столь категорическое суждение является бестактным, если оно не обосновано. Зачем подрывать признанное пропагандистское значение образа Ниловны?»

В самом деле — зачем подрывать признанное пропагандистско-революционное значение книги в целом? А это как раз и получилось бы, если бы сам Горький настаивал на важности для него... христианской темы!

А по правде говоря, конечно, «Мать» — это произведение, это роман, в котором Горький спорил и с опытом атеистической революции, и с опытом христианства, стремясь преодолеть их противостояние и дать, наоборот, их синтез, который, вероятно, можно обозначить как горьковский вариант христианского социализма. Само собой, такая позиция в корне расходилась с позицией Ленина. И как только эта позиция была сформулирована теоретически (так называемое «богостроительство») — так Ленин не замедлил эту позицию подвергнуть беспощадной критике, точнее — разгрому. Тут, конечно, пострадал не один Горький и даже не столько Горький, сколько теоретики «богостроительства» — Богданов, Базаров и Луначарский. И надо полагать, что искренность признания Горьким поражения «богостроителей» в споре с Лениным только подтверждается дальнейшим нежеланием Горького внести ясность в его собственное отношение к роману. Это было отношение противоречивое, поскольку художник не был доволен собой, а лавры успеха пожинал, по сути, не он, а тот исторический сюжет, с которым так настойчиво боролся писатель, навязывая истории свою идеалистическую схему. Ту самую, которую один из друзей Горького, говоря о романе, очень тонко обозначил как «поэтическую дымку»: «Претворенные творческим сознанием поэта, существуют в романе “Мать”, движутся в основе своей реальные персонажи, жившие и работавшие в Нижнем и Сормове, через поэтическую дымку в романе отражены действительные события, действительные настроения молодых романтических лет российского рабочего движения».

Но как раз «поэтическая дымка» и осталась неуловленной нашим горьковедением! Задачей этих своих заметок о романе «Мать» я и считаю необходимость выявления авторского замысла как черты романной действительности («поэтической дымки») в отличие от действительности конкретно-исторической. Проще говоря, пора ответить на вопрос: чему учил опыт революции и чему учил роман. В двух словах ответ таков: Горький хотел бы направить революцию в такое русло, какое ей, как показало дальнейшее, оказалось чуждым. Можно сказать, что — к сожалению, ибо нельзя не признать, что не замеченный и не принятый революцией художественный пафос романа, оставшееся невостребованным «особое мнение» Горького обозначали некую альтернативу, — и не вина Горького, что его подвиг гуманиста мог быть в полную меру оценен не тогда, в начал века, а только теперь, в конце века.

Да! Конец XX века пересматривает свое собственное начало. И главное тут — пересмотр приоритетов в пользу приоритета общечеловеческого над классовым. Нельзя, конечно, изменить историю: что было,

то было, и было так, как было. Но мы изменяем наше понимание и нашу оценку пройденного пути. И этому сегодняшнему нашему новому общечеловеческому мышлению может помочь великий писатель своим великим романом, таким сложным и противоречивым по существу. Надо только внимательно и современными глазами перечитать книгу!

* * *

Представление об атоме как о простейшей неделимой частице мировой материи господствовало в науке более 2 тысяч лет, что, кстати, показывает, что и до нашей эры наука развивалась опережающими темпами по сравнению с нравственным сознанием, — ведь Демокрит выдвинул свою атомную гипотезу примерно за 500 лет до рождения Христа! XX век обнаружил в атоме бесконечно сложную структуру и даже сумел извлечь из него устрашающую мир энергию. С другой стороны, в начале XX века возник новый ряд мифических представлений о простейших элементах — и за эти современные мифы-заблуждения мир уже заплатил дороговую цену. К числу еще не разоблаченных мифов я отношу и благополучно существующие в литературной науке представление о простоте и ясности книги русского писателя, книги, впервые опубликованной и не в России, и не на русском, а в переводе на английский в Нью-Йорке в апреле 1907 года. Я имею в виду ту самую книгу, за которую автор преследовался в судебном порядке до октября 1914 года, когда дело было все же прекращено производством.

Итак, я имею в виду книгу, обвиненную в призыве к восстанию против власти, в оскорблении высшего лица государства, а также — в богохульстве! Это та самая книга, которая, к сожалению, вошла во все школьные программы советского времени, где ее замусолили, тем самым отвратив от нее нашу молодежь. После Октября 1917 года во всей русской литературе не нашлось, как ни странно, более подходящего для воспитания нового, советского человека произведения, чем эта книга, но воспитание этой книгой оказалось возможным только в направлении, раз и навсегда указанном Лениным вскоре по выходе книги — и, кстати, это «указание» Ленин высказал, не подозревая о своей роковой роли, тоже не в России, а в Лондоне, когда там проходил V съезд РСДРП и где встретились Ленин и Горький. Встретились, поговорили — и судьба книги была решена на целых восемьдесят лет вперед. Книга с названием кратким «Мать» с тех пор воспринимается нами только так, как ее воспринимал Ленин, — и никакой наш горьковед ни разу не осмелился печатно усомниться в исчерпывающей полноте ленинской оценки, в ее истинности на все времена, хотя сам

Ленин ценил превыше всего изменения жизни, в соответствии с которыми изменял свои идеи. Тогда, в Лондоне, 80 лет тому назад, Ленин, прочитав сочинение Горького, дал ему высокую оценку, но это была оценка не эстетическая, а политическая. Из воспоминаний Горького: «Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают “Мать” с большой пользой для себя. “Очень своевременная книга”. Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент».

Самоочевидно, что эта оценка дана профессиональным революционером, лидером большевиков, и потому она вполне утилитарна. Удивляет меня, говоря откровенно, эмоциональная сдержанность, суховатость ленинской реакции (особенно если сравнить с его яркими отзывами до и после этой встречи о Чернышевском и Маяковском). Почему-то интуиция подсказывает мне, что здесь сдержанность как-то связана с однозначностью оценки, — будто Ленин и не заметил в этом художественном произведении тех самых идеологических спекуляций, против которых именно в то время он выступил самым естественным для себя образом, т. е. решительно, резко и бескомпромиссно.

Или Ленин и впрямь не заметил в этой книге веяний «религиозного атеизма» и попыток «соединить» научный социализм с религией — не заметил как раз того, за что цензурный комитет квалифицировал эту книгу как «богохульную» и за что Ленин, казалось бы должен был квалифицировать книгу так же, как он квалифицировал тогдашние идеи Луначарского, Базарова и Богданова — богостроительство вместо марксизма, с чем «бой абсолютно неизбежен». Ясно, что Ленин заметил все, замеченное цензурным комитетом, и, конечно, про себя оценил это «с обратным знаком». Тут Горький равно не угодил православию и марксизму. Почему же Ленин промолчал об этом? Может быть, он вел с Горьким некую лукавую игру, не желая ссориться с автором нашумевшего на весь мир произведения! Не думаю. Конечно, лукавство — неотъемлемая черта Ленина, но в серьезных вопросах он всегда был прям и резок. Он даже разговаривать не хотел с теми, кто проповедовал «религию без бога» и выдавал марксизм за высшую мировую религию. Его позиция в этой вопросе была воистину твердокаменной. Он писал: «Марксист должен быть врагом религии». Врагом! Он сам был и остался до конца своих дней яростным врагом религии и церкви. И если у русской церкви были и другие столь же яростные враги (скажем, Лев Толстой), то у православия, у христианства, у любой религии не было во всей истории более непримиримого врага, чем Ленин.

Вот почему я считаю просто наивным думать, будто он не за метил кощунственного, с его точки зрения, стремления автора «Матери» как-то соединить проповедь социалистической революционности Сына с христианской верой Матери. Заметил! Но промолчал. Позже, в одном из своих писем к Горькому, он, не называя «Мать», но как бы оправдывая писателя, пустился в рискованные рассуждения о том, что художник может извлечь для себя нечто полезное даже и из идеалистической философии. Тем самым Ленин теоретически обосновал право художника на свободу мысли — свободу опеки со стороны «строгих марксистов». Увы, это важнейшее завоевание ленинизма в эстетике было напрочь отброшено впоследствии сталинизмом, признававшим за художником право на выбор форм и стилей, но требовавшим от художника единомыслия с правящей партией.

Иначе говоря, резкая критика, с которой Ленин обрушился «марксистское богостроительство» в теории, обошла стороной «Мать». Ленин признал право художника извлекать из своих идеалистических заблуждений такие прекрасные образы, как, скажем, образ Матери, но признал косвенно, не сказав об этом прямо, — и вот наше горьковедение до сих пор не решается говорить прямо о том, о чем было сказано в циркуляре царского цензурного комитета — существенной роли религиозно-церковной идеи в книге Мать».

Теперь — время гласности и перестройки, пришла пора сказать, что для автора «Матери» революционная проблема была неотделима от проблемы религиозной. В своей книге Горький попытался соединить духовную революцию начала I века с социальной революцией начала XX века. Эту же попытку повторили (да, повторили!) через 11 лет Александр Блок и Борис Пастернак. Недавно впервые было опубликовано стихотворение Б. Пастернака «Русская революция» 1918 года. Вот его четвертая и пятая строфы:

Что эта, изо всех великих революций
Светлейшая, не станет крови лить; что ей
И кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюдца.
Как было хорошо дышать красой твоей!
Казалось, ночь свята, как копать в катакомбах,
В глубокой тишине последних дней поста,
Был слышен дерн и дром, но не был слышен Зомбарт.
И грудью всей дышал Социализм Христа.

Поэма А. Блока «Двенадцать» сама собой началась с середины, со стихов «Уж я ножичком полосну, полосну!», а закончилась самым невероятным образом:

В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

На упреки в искусственности и литературности такой эффективной концовки поэт возразил: «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше вглядывался, тем яснее видел Христа».

Но Христа не было там. Сталинизм доказал это по-своему, взорвав храм Христа Спасителя. А роман «Мать» был включен в обязательную школьную программу для всей страны. Это был другой способ уничтожения.

* * *

Разумеется, Ленин не предвидел сталинизма, хотя успел предостеречь его угрозы. Что такое сталинизм как теория, ясно показывает отношение нашего горьковедения к «Матери». Взяли ленинскую оценку книги и закрыли ею все другие оценки, имевшие место в прошлом. Произошло, таким образом, превращение оценки в догму, т.е. в общеобязательную директиву. С опорой на Ленина произвели превращение ленинизма в сталинизм путем отсечения плюрализма мнений — как уже высказанных, так и тех которые могли бы возникнуть, если бы была свобода слова, которой, конечно, не было и не могло быть в условиях сталинизма.

Что же нам делать теперь, в условиях гласности, демократизации, перестройки? По-моему, очень полезно попытаться, наконец, осмыслить отклики критики на «Мать» сразу после опубликования книги. На первый взгляд, это были весьма противоречивые отклики. Наше горьковедение делит их на две главные группы: «за» и «против» «Матери». Внешне это так и выглядит, естественно. Но истина, как известно, не лежит на поверхности, до нее надо еще докопаться, доработаться.

В первом анонимном печатном отклике на появление «Матери» было сказано категорично: «Это — праздник литературы и народа». Но Зинаида Гиппиус, назвав свою рецензию недвусмысленно «Братская могила», пояснила: «Какая уж это литература! Даже не революция, а русская социал-демократическая партия сжевала Горького без остатка...» Луначарский-большевик восторженно приветствовал книгу, но много позже, оценивая ситуацию, писал: «Этот роман был настолько очевидно “партийным”, что уже не могло быть никакого сомнения: Горький — это не просто одиночка-бунтарь...»

Не кажется ли вам, что, внешне противореча друг другу, по сути отзывы З. Гиппиус и А. Луначарского совпали? «Партия сже-

вала», «очевидно “партийный”» — это об одном и том же, только с противоположными знаками (плюс — минус). Так, но что означала для художественного произведения его казавшаяся тогда очевидной партийность? Аноним: «Вещь замечательная. Едва ли в русской я художественной литературе есть другая вещь, которая с такой мощью представительствоваала бы за народ и так глубоко, так страстно отражала его душу». Иначе увидел книгу критик «Русских ведомостей». «Такой слащавости, такого подлаживающегося к действующим лицам тона, такого игнорирования душевных процессов и восторга перед сочиненной любовностью отношений до сих пор в сочинениях г. Горького нам не приходилось читать». Вы видите, как совпадают по некоей скрытой сути и эти «взаимоотрицающие» отзывы? «С такой мощью...» и «такой слащавости...» — разве в обоих этих отзывах не отражено одно некое важное качество произведения, к которому разные критики ставят разные знаки (плюс — минус)? Можно сказать, что речь идет об открытой тенденциозности Горького в этой книге. Отзыв Г. В. Плеханова говорит откровенно именно об этом: «...неудачны те его (Горького. — Г. М.) произведения, в которых силен публицистический элемент, например, очерки американской жизни и роман “Мать”». Публицистическая заостренность «Матери» — это как раз то, что позволило и молодому Корнею Чуковскому издевательски назвать книгу Горького «манифестом о рабочих», добавив при этом, что Горький «ни одного российского “коллектива” не хочет... оставить без манифеста». Еще прежде о том же качестве книги посвоему писал А. В. Амфитеатров: «“Мать” — книга голой социальной азбуки... Кроме черных и белых фигур — никаких...»

Подытоживая отзывы критики на «Мать», Луначарский писал: «Разные кислые замечания по поводу чрезмерной публицистичности этой вещи, некоторой ее искусственности, которые делали даже доброжелательные критики, нисколько не смутили рабочий класс. Он почувствовал в «Матери» свою вещь, в некоторой степени свой литературный манифест». Так! Рабочему классу приписана точка зрения Корнея Чуковского! Парадокс? Нет, конечно. Просто если отбросить знаки «плюс — минус», то в остатке — жанр произведения. Как его обозначить — вот вопрос. «Манифест»? Пожалуй. «Голая азбука»? Годится. Но — не будем торопиться. Приглядимся к существу самого основания жанра, к публицистичности «Матери».

Что это за публицистика? Вроде бы уже ясно: социал-демократическая, революционно-большевистская. Именно этому посвящена книга, не так ли? Значит, манифест революции, азбука революции — вот жанр в единстве содержания и формы? Но давайте обратимся теперь к той стороне книги, о которой Ленин промолчал и которую несколько

позже в письме к Горькому косвенно «оправдал». Обратимся к тому, о чем было сказано уже цензурным комитетом. По сути комитет тоже рассматривал «Мать» как манифест, а не как художественное произведение. Что Ленину казалось заслугой Горького, то комитет вменил ему в нарушение закона. Речь шла об оправдании убийства агентов власти, о «возбуждении к бунту» — и, наконец, о «прямом богохульстве и поношении православной церкви».

Последнее обвинение было прямо поддержано критиком «Московских ведомостей»: «Еще более тяжелое, прямо-таки кошмарное впечатление производят грубо кощунственные речи “героев” Максима Горького о боге, церкви, христианстве, религии вообще...» Сознательный современный читатель, конечно, заметит в книге Горького отклики на Евангелие в виде отдельных образов, сюжетов, идей, споров между героями книги. Все эти отдельные, «вкрапленные» в книгу христианские мотивы тщательно отмечены и прокомментированы нашим горьковедением. Увы, комментарии при этом примитивны: нас отсылают от «Матери» к соответствующим местам Евангелия, не предлагая никакого общего осмысления этих разрозненных мотивов.

Точно так же поступили первые критики «Матери», независимо от знака их рассуждений (плюс-минус). «Кощунственные речи» — это если с оценкой «минус». Плюсовая оценка отсутствовала по понятным причинам: тогдашняя официальная церковь, отлучив Л. Толстого, не могла принять и еретических раздумий Горького, вложенных главным образом в образ самой Матери и потому оценивавшихся как характеристика ее пути. Только недавно в нашем горьковедении появилась более глубокая мысль о том, что сравнение с Христом, его матерью в произведении — «принадлежность не только поэтического видения женщин из рабочей слободки, но и мышления автора о героях и событиях». Исходя из этого справедливого утверждения, В. Е. Кайгородова не менее справедливо утверждает, что функция библейских образов в «Матери» «имеет непосредственное отношение, в частности, к жанровой структуре произведения».

Возьмем это высказывание от 1983 года за точку отсчета и вернемся к критикам начала века. Неужели они не сумели подняться от героев книги к ее автору? Нет, об авторе помнили, думали и писали. Например, И. Н. Игнатов, рецензируя первую часть книги в ожидании второй части, так определял отношения автора и его произведения: «Мы не знаем, чем он (Горький. — Г. М.) кончит... но то, что им написано до сих пор, лишь показывает, как большой талант может быть убит стремлением осилить не соответствующую его настроению, но подсказанную временем задачу». По сути о том же, но с обратным знаком (плюс) писал Леонид Андреев в личном письме

Горькому: «...то, что здесь считают твоим падением (“социал-демократ, увлекается политикой, и оттого талант падает”), один только я верно оцениваю как новый подъем на новую огромную, небывалую высоту. И это понятно: когда люди стоят вверх ногами, небо кажется им ямой и полет — падением... И если теперешние писания твои не удаются тебе и еще долго не будут удаваться, то причина в новизне и гениальности твоего нового, теперешнего мироощущения, мирочувствования. Бывают минуты, когда литература становится маленькой — ибо что такое литература? Слова...»

Оба высказывания утверждают, что талант художника потерпел урон — во имя «задачи времени», во имя «нового мироощущения». Речь — о политике, не о религии. Так — почти во всех рецензиях на «Мать». Только отрицательное отношение к книге отливало в прямую критику религиозных мотивов книги. Положительное отношение не касалось этой стороны, словно ее и не было. Критики боялись быть обвиненными в кощунстве вместе с автором книги? Возможно. Но косвенно и доброжелатели подтверждали, что на «Матери» лежит отблеск Евангелия. Вчитайтесь в рецензии, не пропускайте характерных евангельских оборотов речи! Так, А. Г. Горнфельд писал: «Тлевшая в нем (в отце Павла. — Г. М.) и загубленная сила... возродилась в нежном и непреклонном подвижничестве его сына... а над всем стоит трогательный, большой и крепкий образ матери — русской матери, ровной, покорной, проводящей жизнь в подвиге послушания, но неизменно способной на подвиг мятежа». Те же евангельские сполохи видны и в недоброжелательном отзыве А. В. Амфитеатрова: «Рабочий же, озаренный светом социал-демократической истины, наоборот, спокойно стоек, вежлив, кроток, мягок, умен, образован и необычайно остроумен...»

Наша современная исследовательница В. Е. Кайгородова пишет: «Христос, обрекающий себя на страдания во имя людей, ассоциировался в сознании матери с путем сына». Верно, но — с кем ассоциировался в сознании автора книги путь самой матери, а точнее — путь Сына и Матери? «Ситуация Пелагея Ниловна — Павел иногда проецируется на вечную легенду» (В. Е. Кайгородова). Неверно. И даже совсем наоборот. Эта Вечная книга как бы погружается Горьким в кипяток современности — и выходит «своевременной книгой». Вечное преобразуется в современное, Евангелие оборачивается Романом — дети шествуют к правде, и сын, не верующий в Христа, ведет за собой мать, но именно она, увидевшая в деле сына правду Христову, стала для Горького мериллом всего. Здесь хочется привести замечательные слова Валентина Распутина: «Возможность влиять на общественное мнение, пока еще не утерянная писателем, ставит перед ним в условиях культурного

раскола задачу особенно выверенного, духовно-собирающего, я бы сказал, христианского поведения». Мне думается, что Горький ставил перед собой подобную задачу в условиях социального раскола. Ситуация Сын — Мать в книге Горького отражает ситуацию Сын — Мать в Евангелии, только в перевернутом виде: если в Евангелии на первом плане Сын, то в книге Горького — Мать. В этом — структурная и содержательная особенность книги, которую я считаю по жанру Евангелием от Максима. «Новое вино влито в старые мехи».

Да, я подозреваю, что именно Евангелие стало для Горького жанровым прототипом, т.е. протожанром «Матери», — и эта книга отличается от своих протожанровых книг так же, как ее герои отличаются от их реальных прототипов (а известно, что у всех героев книги свои прототипы). Да, я предполагаю, что необычайно бурная работа, позволившая Горькому за очень короткий срок написать «Мать», началась тогда именно, когда его озарило свыше протожанром будущей книги, — это был сильнейший магнит, сразу организовавший все бесчисленные факты, которые Горький за несколько лет собрал для книги, но никак не мог выстроить в книгу. Образ Евангелия как протожанра открыл шлюзы творческой энергии. Писатель поймал свой жанр, свое Евангелие — книга, задуманная как повествование о революционере, написана как повествование о матери революционера.

Это было сразу же замечено. В. В. Воровский откликнулся: «Весьма замечательной чертой этой повести является то, что главным действующим лицом в ней автор сделал (сделал? — Г. М.) не непосредственных активных деятелей движения — Власова, Весовщикова и пр., а мать Власова. Художнику, особенно художнику, не успевшему еще вполне отделаться от недавнего романтического увлечения, более интересной, более поэтической фигурой должна была казаться старуха мать, воскресающая силой любви из забитого состояния, берущая на себя тяжелое бремя проповеди сыновнего учения».

Что ни говорит, но в годы написания «Матери» Горький, конечно, просто разрывался между проповедью Христа и статьями Ленина. Сам Горький вспоминал о себе тогдашнем: «Подлинную революционность я почувствовал именно в большевиках, в статьях Ленина, речах и в работе интеллигентов, которые шли за ним». Это воспоминание можно дополнить: в числе интеллигентов, которые шли за Лениным и были лично близки Горькому, находились Луначарский, Базаров, Богданов — те самые «богостроители», на которых обрушилась философская критика Ленина. Конечно, Горький в «Матери» пытался сам найти сочетание христианства с революцией, отмечая церковь, которую он, видимо, очень не любил, подобно Толстому и Ленину. Напомню, что Христос однажды сказал прямо о том, что он принес

в жизнь «не мир, но меч». Именно сочетания революционного насилия с христианским началом искал Горький. Он говорил Толстому, что является сторонником активного действия вплоть до насилия. «А насилие — главное зло! — возразил Толстой и добавил: — Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель?» Эта проблема и составила весь смысл развития отношений между матерью и сыном, поставила мать в центр книги.

Почему же я все время говорю о книге Горького, называя ее ни романом, ни повестью? В нашем горьковедении более принято считать «Мать» романом, однако не забывают о том, что сам автор упорно называл свою книгу повестью. Что же это: роман или повесть? Давайте спросим, а что такое Евангелие: роман или повесть? Последнее может показаться странным. Однако я это нашел у самого Горького. В замечательном очерке «Лев Толстой» от 1919 года есть примечание Горького к его старому спору с Толстым о вере в бога. Вот это примечание: «Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы».

Понятно, что Горький не зря опасался в этом вопросе «кривотолков» — ведь шел незабываемый 1919 год! Сейчас, ровно 70 лет спустя, не боясь кривотолков, скажу так: если уж Евангелие — роман, то пусть и Евангелие от Максима — тоже роман. Такой же, кстати, фантастический роман о подвиге Матери, как «роман» Ионна о подвиге Христа.

* * *

В то время когда Горький жил в США и лихорадочно писал «Мать», у него родилась одна идея, огромное значение которой он почувствовал и высказал эту идею сразу же в письме к Е. П. Пешковой. Он писал, что героиня его романа скажет на суде речь, в которой обрисует «весь мировой процесс — шествие детей к правде». И с сильным напором подчерк: «Детей, ты это пойми! В этом — страшное усиление мировой трагедии». Пожалуй, мысль выглядит как смутное озарение, трудно понять, в чем тут усиление мировой трагедии? Сам чувствуя эту неясность, Горький оправдывается: «Мне трудно пояснить тебе эту большую мысль в письме, она слишком сложна». Однако тут же он все-таки дополняет эту мысль другой: «...выдвигает другую, тоже очень глубокую, о роковой для людей разнице между реформатором и революционером, — разнице, которая нам незаметна и — страшно путает нас».

Ну, положим, для нас, за плечами которых 89 лет истории России XX века, очень даже заметно и понятно «роковое для людей» отличие

реформы от революции. Но при чем тут «шествие детей к правде»? И невольно спрашиваешь себя: а как же не в письме, но в просторе романа высказалась эта идея? И — высказалась ли?

Можно сказать, что в известном смысле сюжетным стержнем романа стало именно «шествие детей к правде». Но в чем и где есть в романе страшное усиление мировой трагедии?! Это есть в жизни Богоматери, ибо шествие ее Сына к правде было шествием на смертную казнь. Вот трагедия, которая усиливается от того, что сына казнят на глазах матери. Но в романе Горького трагедии нет. Правда, мать Павла все время ожидает чего-то страшного, особенно ее пугает суд над сыном. Но ведь страшного не получилось. И даже ее собственное участие в подпольной работе (распространение листовок на заводе) казалось матери интересной игрой! А ведь игра — не трагедия. Глубокая вера Павла и его друзей в будущую победу на протяжении романа сильно возрастает, что усиливает оптимизм книги. Да и смехотворный суд и смехотворная тюрьма (царская — не сталинская) также не вносят в роман ничего страшного, ничего трагического. Все в книге есть движение из мрака к свету. Недаром Ленин спустя несколько лет высказал пожелание, чтобы Горький написал еще что-нибудь вроде «Матери». С этим социальным заказом писатель не сладил...

Но ирония истории, мне кажется, в том, что сегодня читать этот боевой, оптимистический роман и в самом деле страшно. А потому что знаем, каким ужасом сталинизма обернется будущая победа Павла Власова и для них самих, и для всего народа! И еще потому, что жить в годы революционной перестройки, не имея в душе той глубокой веры и тех высоких идеалов, какие были у Павла Власова, — тоже ужасно. Я перечитал роман не только с чувством ужаса за будущее его героев и за нас, его нынешних читателей, но и с чувством глубокой зависти к судьбе молодого рабочего парня, для которого нашлась вера, буквально вытаскившая его за волосы из болота тогдашнего общественного застоя.

Разве не яркой картиной застоя открывается эта книга, разве не о психологии людей начала века, притерпевшихся к тогдашнему застою и нашедших спасение в запое, писал Горький?

Вчитайтесь:

«Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки.

Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила... люди из-за пустяков бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки... Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, и, не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнет».

Разве сия картина не была повторена (на другом, конечно, витке спирали) в годы нашего застоя, когда, слушая шепелявившего Брежнева, люди, вздыхая, говорили: не было бы хуже после него! И разве наша современная молодежь так уж сильно отличается в своем быте от описания Горького?

Вчитайтесь:

«Отец пил, но это не только в их семье. Мать умерла в сорок лет. Мачеха от детей не отказалась, но вниманием ни его, ни старшего брата не баловала. Завод после школы и армии выбирал — не мучился. Чего выбирать, когда вот он, через дорогу, к тому же и отец с матерью там всю жизнь проработали. И когда пить начинал, тоже не мучился: отец пил, друзья его пили. Казалось, захочет — бросит. Словом, типичная для того времени судьба, когда серость жизни запивали горькой...»

Типичная для какого времени? А вспомните повесть Виля Липатова «Серая мышь» — вот какого времени. Я взял отрывок из беседы современной журналистки с современным бездомным алкоголиком. Это жизнь «по Горькому», но в том самом светлом будущем, за которое боролся Павел Власов. А дальше этот советский бомж жил уже «по О'Генри»: «И вот уже на одной ноге еду я в тот самый Алексин. И что же?.. Ни работы, ни жилья. Прошел месяц. Ночевал в сквере. На хлеб зарабатывал, пользуясь своей очевидной инвалидностью. Шел к пивному ларьку и за двугривенный покупал желающим пиво без очереди... Я решился. Стащил в рабочей раздевалке джинсы и кроссовки... Через несколько минут был задержан сержантом милиции, чего, собственно, и добивался. Глупо, сам знаю. Но тогда, не поверите, был счастлив. Хоть одна дверь, пусть даже тюремная, для меня приоткрылась. Искал работу и... на два года ее получил. Пришивал в колонии воротнички к мужским сорочкам».

Павел Власов тоже кончил тюрьмой, хотя ничего ни у кого не воровал. Разные времена, разные песни, разные герои? Не очень-то. Вспомните у того же Виля Липатова знаменитый роман «И это все о нем» 1974 года, где показан бунт молодого рабочего, — бунтарь обречен на поражение, ибо власть застоя против него. Только 11 лет спустя после гибели этого бунтаря состоялся апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 года, взяло отчет новое время.

О чем сегодня думаешь, когда читаешь «Мать» Горького? Вот о чем. К чему звал народ Павел Власов? К социализму. К чему зовет нас сегодня Михаил Горбачев? К социализму! А как быть с горчайшим опытом 70 лет? Был ли сталинизм деформацией социализма — или социализма еще у нас не было вообще? Откровенно говоря, было бы легче и приятнее думать, что социализма еще не было. Но трагедия наша не только

в том, что идеи социализма оказались опороченными. Трагедия еще и в том, что мы, активно участвуя в процессе перестройки, не видим рядом с нами именно «шествия детей к правде!» Не хотят наши дети быть Павлом Власовым — «редким человеком, железным человеком». Хотят быть обыкновенными грешными людьми конца века, а не героями. Горький любил говорить о «социальном идеализме» — где он теперь, этот социальный идеализм? Горький имел право сказать о борьбе России за свободу: «На этом пути создали героев, великомучеников ради свободы, красивейших людей земли, и все прекрасное, что есть в нас, воспитано этим стремлением».

Но что делать, если дети не хотят быть героями и великомучениками, не хотят быть прототипами для какого-нибудь нового Евангелия? Они говорят: уж если так необходимо Евангелие, то не лучше ли вернуться к Евангелию от Иоанна?

Может быть, устами детей глаголет истина.

Но так думают и некоторые взрослые. В 1981 году в Москве появилась ставшее последним произведением лауреата ленинской премии Н. В. Думбадзе — повесть «Кукарача». И вот там есть один серьезный разговор между участковым милиционером и женой секретаря райкома партии — разговор о душе.

Послушав евангелические заповеди в изложении Анны Ивановны, Кукарача сказал:

«— Вообще-то следовало бы приобщать к этим заповедям и законам детей в школе и дома... А что это за книга, Анна Ивановна?

— Четвероглав, Евангелие от Матфея.

— А вычитаете его Тамазу?

— Томазу? — опешила мама. — Знаешь, я не думала об этом... рано еще...

— Читать такую книгу никогда не рано, — сказал задумчиво Кукарача.

— Может, ты и прав...»

Об этом эпизоде я напомнил лауреату Государственной премии СССР В. Д. Дудинцеву — наша беседа опубликована в «Литературной России» (16 декабря 1988 г.). Однако писатель, в отличие от Анны Ивановны, не согласился с мнением Кукарачи. «Знаете, — сказал Дудинцев, — я не согласен с тем, что Библию надо преподавать в школе. В школе ее преподавать не надо. А вот в вузах изучать надо. Потому что человек, независимо к какой он специальности себя готовит, вступает по окончании вуза в общество, где он должен функционировать. Где он сталкивается с добром и злом. Изучение же Библии — начаток, только начаток изучения добра и зла! Это изучение остро необходимо».

Итак, где все-таки целесообразнее впервые знакомиться с Евангелием от Матфея — в школе или вузе? Пока писатели спорят, учителя

и школьники, в обязательном порядке, преподают, «проходят», сами того не подозревая, Евангелие от Максима!

Но нет Евангелия без пророчеств. Есть пророчество и в романе Горького. Вот одно. Среди всех революционеров, друзей Павла (кстати, случаен ли выбор имени, не от самого ли великого проповедника христианства — апостола Павла?), только один долго не вызывает симпатии у матери. Это Николай Весовщиков, угрюмый, подозрительный, озлобленный, яростно выискивающий «виновных», чтобы выплот их с поля жизни — без пощады! «Боюсь я его!» — признается мать милому ее сердцу Андрею Находке, на что получает неожиданный ответ: «Когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся из терпенья, — что это будет? Небо кровью забрызгают, и земля в ней, как мыло, вспенится...»

Жизнь подтвердила страшный прогноз. С лихвой! Когда «такие люди» дорвались до власти, они не «забрызгали», а залили кровью небо и землю. Они строили социализм на крови, но социализм захлебнулся кровью. Прав был Горький, когда в 1918 году писал: «...путем убийств, насилий и тому подобных приемов нельзя добиться торжества социальной справедливости».

